



## **Михаил АРДОВ**

### **Великая душа. Воспоминания о Шостаковиче**

<Фрагменты>

Смолоду я знал трех людей, к которым вполне был применим эпитет «великий». Это были поэты Анна Ахматова, Борис Пастернак и композитор Дмитрий Шостакович. С Ахматовой я был в доверительных отношениях, с Пастернаком часто виделся и иногда разговаривал... Впрочем, и встречи мои с Шостаковичем в конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов носили довольно регулярный характер, поскольку я дружил с его детьми. Было бы преувеличением утверждать, что я общался с Шостаковичем, — он был наглухо закрыт для людей посторонних, к каковым, безусловно, относились приятели его сына и дочери. Но при том я смотрел на него, как на некое чудо, поскольку уже тогда понимал, что среди современных композиторов нет ему равных.

Со дня смерти Шостаковича прошло более четверти века, из книг, посвященных ему и его творчеству, можно составить целую библиотеку. Но среди этих весьма многочисленных изданий нет ни одного такого, которое могло бы дать ясное понятие о том, что за человек был Дмитрий Дмитриевич, каков он был в общении с близкими людьми, какие имел привычки и пристрастия. Нельзя сказать, чтобы мемуаристы и биографы обходили эту тему, но такие свидетельства распылены по многим изданиям, и их не всегда легко отыскать среди пространных музыковедческих, да и политических пассажей.

Моя давняя близость с детьми Шостаковича — Галиной и Максимом — натолкнула меня на мысль записать их рассказы об отце, и в результате появилась эта книга. Их воспоминания дополнены выдержками из некоторых изданий, чаще всего я цитирую замечательнейшую книгу «Письма к другу. Дмитрий Шостакович — Исааку Гликману» (СПб., 1993) и фундаментальный труд Софьи Хентовой «Шостакович. Жизнь и творчество» (Л., 1986, том 2).

За время работы над этой книгой я прочел множество публикаций, так или иначе связанных с личностью великого композитора, много думал о нем. И вот теперь, если бы меня спросили: знал ли я когда-нибудь абсолютно гениального человека? — я бы ответил: да, я был знаком с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем.

А на вопрос: известен ли был мне подлинный русский интеллигент, интеллигент до мозга костей? — я бы дал тот же самый ответ.

<...>

**Галина:**

Я сижу рядом с отцом на скамейке и ужасно скучаю, в голове только одна мысль: «Когда это кончится?» А родитель мой оживлен, увлечен, азартен...

Это воспоминание относится к тому далекому дню, когда отец взял меня с собою на футбольный матч. Мне там было совершенно неинтересно, я в этой игре ничего не понимала, да и не стремилась понимать...

И вдруг на поле произошло нечто такое, что развлекло и рассмешило меня: от сильнейшего удара сломалась штанга ворот. На поле — замешательство, а на трибунах — невероятный восторг и крики. Вот почему я так надолго запомнила свой единственный поход на стадион.

А отец всю свою жизнь был горячим поклонником футбола. Он не только помнил фамилии игроков нескольких поколений, но и вел какие-то записи, составлял для себя статистику матчей. И будь он сейчас жив, я уверена, ему бы не составляло особенного труда ответить на вопрос: в каком году, в какой день и на каком именно стадионе была эта запомнившаяся мне игра.

**Софья Хентова:**

...Увлекаясь футболом, Шостакович мечтал написать гимн этому виду спорта, а когда появился футбольный марш М. Блантера, с гордостью объявлял: «Вот что наш Мотя сочинил!» На почве футбола то и дело происходили случаи забавные.

Футбол свел с Константином Есениным — пасынком Мейерхольда, помнившим Шостаковича со времен, когда композитор писал музыку к спектаклю «Клоп».

Ознакомившись с очередной статьей Константина Есенина, поднявшего футбольную статистику на высоту поэзии, изложил ему письмом свои фактические поправки. Почерк, по обыкновению, был

малоразборчив, подпись неясна, и Есенин раздраженно позвонил по указанному в письме телефону:

— Есть у вас старичок, интересующийся футболом?

— Есть, — ответил женский голос, — сейчас позову.

Есенин вступил в запальчивую полемику с дотошным «старичком». В конце разговора спросил:

— Как ваша фамилия?

И, услышав робкое «Шостакович», обомлел.

*(Хентова, стр. 288)*

**Максим:**

Между прочим, папа был не только великим знатоком футбола, он был дипломированный футбольный судья. Это звание было ему присвоено еще до войны, в Ленинграде. Он знал правила спортивных игр назубок, любил судить состязания.

**Галина:**

В пятидесятых годах отец отдыхал в правительственном санатории в Крыму, и там ему довелось судить теннисные соревнования. Среди тех, кто ежедневно выступал на кортах, был генерал армии Иван Александрович Серов, который тогда занимал должность председателя КГБ. Так вот, если главный чекист делал какой-нибудь промах, а потом выражал претензии, Шостакович неизменно останавливал его такой фразой: «С судьей не спорят». И отец признавался: говорить эту сентенцию в лицо председателю КГБ было для него истинным наслаждением.

<...>

**Максим:**

Стол накрыт белой скатертью и сервирован с большим изяществом. У бабушки, матери отца — Софьи Васильевны, — парадный обед. Среди приглашенных наши родители, мы с сестрой и самый главный гость — Михаил Михайлович Зощенко.

Помнится, во время этого обеда я смотрел на него с особенным любопытством. Отец часто говорил о нем, цитировал его рассказы... И притом упоминал, что Зощенко очень смешно пишет, но сам никогда не улыбается...

Михаил Михайлович был дружен с бабушкой Софьей Васильевной, он высоко ценил и уважал Шостаковича. Наш отец отвечал ему взаимностью, однако же особенной душевной близости у них не было, слишком разные это были характеры.

И вот еще какое соображение. Зощенко был довольно далек от музыкального мира и по этой причине не мог оценить в полной мере композиторский талант Шостаковича. В противоположность этому наш отец прекрасно знал русскую литературу, очень любил Гоголя, Достоевского, Лескова, Салтыкова-Щедрина, Чехова и, разумеется, понимал все величие Зощенки.

**Михаил Зощенко — Мариэтте Шагинян:**

Я очень люблю Д. Дм. Он Вам правильно сказал, что я хорошо к нему отношусь. Я знаю его давно, лет, вероятно, 15–16. Но дружбы у нас не получилось. Впрочем, я не искал этой дружбы, потому что видел, что этого не могло быть. Всякий раз, когда мы оставались вдвоем, нам было нелегко. Наши токи не соединялись. Они производили взрыв. Мы оба чрезвычайно нервничали (внутренне, конечно). И хотя мы встречались часто, нам ни разу не удалось по-настоящему и тепло поговорить.

*(Письмо от 4 января 1941 года —  
«Новый мир», 1982, № 12)*

**Максим:**

В 1946 году Зощенко был ошельмован в постановлении ЦК Коммунистической партии, и отец принял произошедшее очень близко к сердцу. Исаак Давыдович Гликман свидетельствует, что в десятилетнюю годовщину со дня смерти Зощенки они с Шостаковичем поехали на его могилу в Сестрорецк. Гликман запомнил такие слова нашего отца:

— Он безвременно умер, но как хорошо, что он пережил своих палачей Сталина и Жданова.

А еще я помню, как отец время от времени произносил такую фразу:

— Все что угодно отдам за шеститомник Зощенки.

**Галина:**

Наша бабушка Софья Васильевна была очень активным человеком. В 1946 году она взялась помогать Зощенке, собирала для него деньги — ведь его совершенно перестали печатать и лишили средств к существованию... Бабушка была общительная, веселая, часто бывала на концертах, и не только когда играли Шостаковича. Она прекрасно знала литературу, интересы у нее были самые разнообразные. Дома у нее — полно народу, кто-то приходит, кто-то уходит... Обязательно кто-то ночует. Она была собирательницей людей...

И в этом отношении она была полной противоположностью своему сыну. Шостакович по натуре не был ни общительным, ни разговорчивым. Посторонние люди, если они присутствовали в доме, создавали для него некое неудобство. Он с детства учил нас правилам общения с друзьями и знакомыми:

— Никому нельзя звонить после десяти вечера или ранее десяти утра. Нельзя приходить в гости без звонка или приглашения. Если вам говорят: «Как-нибудь заезжайте», — это еще не означает, что вас пригласили. Приглашают на определенное число и к определенному часу.

Вот он сам зовет кого-нибудь из друзей на обед. Например, Хачатуряна с женой. За столом обстановка самая непринужденная — шутки, смех... Но застолье не может быть бесконечным — если обед начался, предположим, в 15 часов, то в 17 он закончится. И все друзья это прекрасно понимали. Для тех, кто засиживался сверх всякой меры, у нас в семье был специальный термин: «каменный гость». А еще отец иногда говорил: «Бойся гостя не сидящего, а уходящего». Он очень не любил, когда кто-то уже стоит в прихожей и продолжает разговаривать.

Притом мама наша была общительным человеком. Я вспоминаю дачу в Комарове. На первом этаже мама сидит с гостями, а отец наверху сочиняет музыку. Вот он спускается вниз, присаживается к столу, прислушивается к разговору... А минуты через три опять уходит к себе на второй этаж.

<...>

### **Галина:**

Отец ходит по квартире из комнаты в комнату и непрерывно курит. С мамой они не разговаривают. Мы с Максимом тоже молчим, в такие моменты вопросы задавать не принято...

Это — зима 1948 года. Мне почти двенадцать, Максиму — десять. Мы знали, что во всех газетах перевозносятся «историческое постановление Центрального Комитета партии «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели», а музыку Шостаковича и прочих «формалистов» бранят на все лады.

Максим учился в музыкальной школе, а там «историческое постановление» штудировалось. Учитывая это, родители решили, что лучше ему некоторое время в класс не ходить. По этой причине я ему завидовала. У меня-то была самая обычная советская школа, и на уроках в нашем шестом классе о постановлении ЦК даже и не упоминали.

А последствия этого «исторического документа» ждать себя не заставили: симфонические оркестры перестали исполнять сочинения Шостаковича, и, чтобы кормить семью, отец был принужден писать музыку к кинофильмам, а этого он, надо сказать, не любил. Кроме того, его изгнали из преподавательского состава консерватории, и наша семья была лишена возможности пользоваться правительственной поликлиникой.

Атмосфера в те дни была очень тревожная...

**Максим:**

Когда мы были маленькими, то иногда обращались к отцу с вопросом: куда пропал такой-то наш знакомый или такой-то? У него для нас был весьма короткий ответ: «Он хотел восстановить капитализм в России...» Но как только мы немного подросли, стали разбираться в ситуации. Был арестован и погиб муж старшей сестры отца Всеволод Фредерикс, а его жена, наша тетка Мария Димитриевна, была выслана из Ленинграда. В свое время подвергалась аресту и наша бабушка со стороны матери — Софья Михайловна Варзар...

Начиная с тридцатых годов и до самой смерти Сталина Шостакович жил под угрозой ареста и гибели. От этого не могла спасти ни лояльность режиму, ни гениальная одаренность — судьба поэта Осипа Мандельштама или режиссера Всеволода Мейерхольда — наглядный пример.

Как известно, среди поклонников Шостаковича был расстрелянный по приказу Сталина маршал Михаил Тухачевский, они иногда с отцом общались. Композитор Вениамин Баснер рассказал мне со слов отца такую историю. Однажды после того, как Шостакович побывал в гостях у Тухачевского, его вызвали в Большой дом, то есть в ленинградское управление НКВД. На допросе следователь его спросил: «Вы были у Тухачевского. Вы слышали, как Тухачевский обсуждал с гостями план убийства товарища Сталина?» Отец стал отнекиваться... «А вы подумайте, вы припомните, — говорит следователь. — Некоторые из тех, кто были с вами в гостях у Тухачевского, уже дали нам показания». Отец продолжал утверждать, что ничего такого не было, что он ничего не помнит... «А я вам настоятельно рекомендую вспомнить этот разговор, — сказал следователь с угрозой. — Я даю вам срок до одиннадцати часов утра. Завтра придете ко мне еще раз, и мы продолжим беседу...» Отец вернулся домой ни жив ни мертв. Он решил, что показаний против Тухачевского не даст, и стал готовиться

к аресту. Утром он снова явился в Большой дом, получил пропуск и уселся возле кабинета того самого следователя. Проходит час, другой, а его не вызывают... Наконец какой-то чекист, который шел по коридору, обратился к нему: «Что вы тут сидите? Я смотрю, вы здесь уже очень давно...» — «Жду, — отвечает отец. — Меня должен вызвать следователь Н.» — «Н.? — переспросил чекист. — Ну, его вы не дожидаетесь. Его вчера ночью арестовали. Отправляйтесь-ка домой». Так что без преувеличения можно утверждать: Шостакович чудом избежал ареста.

<...>

**Галина:**

«Дом отдыха суда и прокуратуры» — такая вывеска красовалась на старом финском доме, который соседствовал с нашей дачей в Комарове. А потом это заведение стало именоваться по-другому — Дом отдыха госучреждений. Но эта перемена никак не отразилась на интеллектуальном и нравственном уровне тех, кто там пребывал, а именно — мелкие служащие так называемых карательных органов. То есть соседство было не из приятных, в особенности это проявилось летом 1948 года, когда Шостакович был ошельмован во всех советских газетах и объявлен «формалистом», почти что «врагом народа».

Работники «госучреждений» в выражении своих верноподданных чувств несколько не стеснялись: из-за забора доносились оскорбительные выкрики и на наш участок швыряли всякую дрянь... И тут надо отдать должное Максиму — он вступался за честь отца.

**Максим:**

В те годы еще свежа была память о советско-финской войне, которая проходила именно в тех местах, где была наша дача, — на Карельском перешейке. Мы знали, что самую большую опасность для советских солдат во время той войны представляли финские снайперы. Их называли «кукушками», поскольку они прятались в кронах деревьев и обнаруживать их было чрезвычайно трудно.

На нашем комаровском участке была высокая сосна, ствол которой был раздвоен у вершины. Именно там я укрепил небольшую доску, чтобы сидеть, и соорудил себе рогатку, из нее я стрелял камнями в наших обидчиков.

Но зловредные соседи досаждали Шостаковичу не только бранными криками. На их участке был громкоговоритель, который оглашал окрестности с шести часов утра и до двенадцати ночи, там звучали

помпезно-хвастливые советские радиoproграммы. Это мешало моему отцу сочинять музыку, и мне приходилось стрелять из рогатки не только по самим соседям, но и по репродуктору. Иногда мне удавалось выводить его из строя, и он на какое-то время умолкал.

<...>

**Галина:**

Я шепотом произношу названия букв:

— Ша... Бэ... Эм... Эн... Ка...

Отец прижимает палец к губам и тихо говорит мне:

— Молчи!..

Мы — в полутьме медицинского кабинета. Отцу проверяют зрение с помощью специальных таблиц, а я по школьной привычке вручаю его — подсказываю буквы.

Эта забавная сценка происходила в начале 1949 года в так называемой «кремлевке» — правительственной поликлинике. Нашему появлению там предшествовала целая история. В марте того же года большая группа деятелей советской науки и искусства должна была ехать в Соединенные Штаты, и было решено включить в эту делегацию Шостаковича. А он вообще не любил такие поездки, от этой же хотел уклониться еще и по той причине, что был очередной раз ошельмован: в течение целого года его ругательски ругали в прессе и на всех официальных собраниях. (В феврале 1948-го вышло «постановление ЦК», где осуждались все «формалисты», к которым был причислен и Шостакович.)

И тогда случилась вещь беспрецедентная — 16 марта отцу позвонил по телефону сам Сталин. Шостакович стал отказываться от поездки, дескать, ехать ему неудобно, так как существует запрет на исполнение его музыки. И Сталин тут же запрет отменил. Но разговор на этом не кончился, все еще пытаюсь уклониться от путешествия в Америку, отец сказал:

— Я плохо себя чувствую... Я болен...

Тогда Сталин спросил:

— Где вы лечитесь?

Ответ был такой:

— В обычной поликлинике...

Разговор продолжался, но эти три реплики не остались без последствий. Я уже упоминала, одним из результатов «постановления ЦК» 1948 года было то, что нашу семью лишили права пользования так называемой «кремлевкой» — поликлиникой для правительства. Так вот, в тот же день, когда Шостакович разговаривал со Сталиным,

начались оттуда звонки: требовали заполнить анкеты, предоставить наши фотографии и, главное, немедленно явиться к ним всей семьей, дабы пройти полное обследование. И посещение окулиста, во время которого я пыталась помочь отцу подсказками, состоялось по случаю нашего возвращения в число пациентов «кремлевки».

Как я теперь понимаю, наше изгнание из правительственной поликлиники произошло по инициативе не в меру ретивых мелких чиновников, а поспешное восстановление — по прямому указанию «великого вождя».

**Максим:**

Когда отцу позвонил Сталин, дома были папа, мама и я. Отец говорил из своего кабинета, а мама слушала этот разговор по другому аппарату, который стоял в прихожей. И я умолял ее, чтобы она дала мне трубку, ужасно хотелось услышать голос живого Сталина... И я ее упросил, мне довелось услышать несколько фраз из их с отцом разговора.

Как известно, поездка Шостаковича в Америку в 1949 году состоялась. Официально он был членом советской делегации, которая прибыла на Всеамериканский конгресс деятелей науки и культуры в защиту мира. Кроме нашего отца в Соединенные Штаты приехали писатели, кинорежиссеры, ученые... По причине своей застенчивости и скромности Шостакович никогда не говорил о некоторых подробностях своего путешествия за океан. Но писатель Александр Александрович Фадеев, который был в составе той делегации, в свое время рассказывал друзьям о том, как в Америке принимали знаменитого композитора.

Начать с того, что на аэродроме в Нью-Йорке Шостаковича приветствовали несколько тысяч музыкантов. Самую группу тех деятелей, что приехали из Советского Союза, в прессе именовали так: «Дмитрий Шостакович и сопровождающие его лица». Американцам довольно трудно произносить нашу фамилию, и они ее переделали на свой лад, отца именовали сокращенно — Шости.

Время от времени ему кричали: «Шости, прыгай, как Касьянкина!» Незадолго до того, как наш отец приехал в Штаты, там разразился скандал. Русская учительница по фамилии Касьянкина, которая работала в школе при советском представительстве, попросила политического убежища. Дипломаты попытались ей воспрепятствовать, они заперли эту женщину в одной из комнат посольства. Но Касьянкина сумела открыть окно и выпрыгнуть на улицу, где ее ожидала толпа американцев.

Увы! — в 1949 году Шостакович не мог даже и помыслить о том, чтобы последовать примеру Касьянкиной. Он вполне отдавал себе отчет, какая судьба ждала бы нас — его жену и детей — да и всю прочую многочисленную нашу родню, останься он на Западе. Этот шаг довелось совершить мне в 1980 году. Но мои обстоятельства были иными — у моей первой жены уже была другая семья, и со мною был мой тогда еще единственный сын. Да и по части кровожадности брежневский режим был несравним со сталинским. Впрочем, не обо мне тут речь.

А еще Фадеев рассказывал одному из своих приятелей о таком эпизоде. Шостакович зашел в какую-то нью-йоркскую аптеку, чтобы купить аспирин. Он пробыл в магазинчике никак не более десяти минут, но, выходя на улицу, увидел такую картину: один из продавцов выставлял на витрине рекламный щит с надписью: «У нас покупает Дмитрий Шостакович».

<...>

#### **Максим:**

Я и по сю пору явственно слышу фарисейский голос композитора Дмитрия Кабалевского, он обращается к моему отцу и, имитируя доброжелательность, говорит:

— Митя, ну что ты торопишься? Не наступило еще время для твоей оперы...

А Шостакович сидит на диване, в трясущейся руке — папироса, он будто и не слышит Кабалевского...

Это происходило в марте 1956 года. К нам домой явилась комиссия Министерства культуры, она должна была решить дальнейшую судьбу оперы «Леди Макбет Мценского уезда», которая была запрещена к постановке в течение двадцати лет — с 1936 года. Именно тогда на один из спектаклей пришел сам Сталин, и опера вызвала его гнев. В центральной партийной газете «Правда» была напечатана разгромная статья под названием «Сумбур вместо музыки», а затем последовали так называемые «оргвыводы» — собрания творческой интеллигенции, где единогласно принимались резолюции, гневно осуждающие и Шостаковича, и его опус.

Но в 1953 году Сталин умер, в стране началась хрущевская «оттепель», и у нашего отца появилась надежда, что опера «Леди Макбет» — одно из самых его любимых творений — может быть реабилитирована. Это казалось вполне достижимым, к тому же Шостакович внес в оперу исправления, которые коснулись и музыки, и либретто. Кроме того, опера получила другое название —

«Катерина Измайлова». Снятия запрета добивался не только наш отец, но и руководство Малого оперного театра в Ленинграде, им очень хотелось включить этот спектакль в свой репертуар.

В начале 1956 года в Министерстве культуры была сформирована комиссия, дабы решить дальнейшую судьбу многострадальной оперы. Председателем этой комиссии был Кабалевский, кроме него я помню композитора Михаила Чулаки и музыковеда по фамилии Хубов. А еще присутствовал Исаак Давыдович Гликман, он помогал отцу делать новую редакцию либретто. То обстоятельство, что прослушивание оперы и самое заседание этой комиссии происходило у нас дома, на Можайском шоссе, может восприниматься двояко. С одной стороны — как дань уважения Шостаковичу, а с другой — как утонченное издевательство, если учесть то, что говорилось на обсуждении.

Члены комиссии и приглашенные ими лица расположились в кабинете отца, а он сел у рояля и пропел всю оперу под собственный аккомпанемент. В это время я был рядом с ним, он попросил меня переворачивать нотные страницы.

Потом началось обсуждение... Кабалевский, Хубов и Чулаки буквально набросились на Шостаковича... Им пытался возражать Гликман, но они его не желали слушать...

А я смотрел на этих отвратительных людей и жалел, что у меня нет рогатки, из которой я когда-то в Комарове стрелял в обидчиков моего отца.

#### **Исаак Гликман:**

Обсуждение «Леди Макбет» можно назвать постыдным. Хубов, Кабалевский и Чулаки все время ссылались на статью «Сумбур вместо музыки». Особенно усердствовали Хубов и Кабалевский. Они сравнивали отдельные куски музыки с разными абзацами этой статьи, наполненной бранью. Они при этом повторяли, что статью до сих пор никто не отменял и она сохранила свою силу и значение. (Еще бы! Ведь в ней говорится, что в опере «музыка ухает, крикает, пыхтит и задыхается».)

Кабалевский делал комплименты некоторым местам оперы, и это было вдвойне неприятно слушать. В заключение он сказал (в качестве председателя комиссии), что оперу ставить нельзя, так как она является апологией убийцы и развратницы и его нравственность этим очень ущемлена... Я говорил довольно убедительно, но все мои доводы разбивались об эту статью, которой Кабалевский и Хубов размахивали, как дубинкой.

В конце прений Кабалевский просил высказаться Дмитрия Дмитриевича, называя его с дружеской фамильярностью Митей, но тот отказался говорить и с удивительным самообладанием поблагодарил «за критику». На душе у него кошки скребли. Мы с ним поехали в ресторан и изрядно напились не от горя, а от отвращения. Это было в ресторане «Арагви», в отдельном кабинете. Дмитрий Дмитриевич встал из-за стола, подошел ко мне и сказал: «Ты мой первый и самый верный и самый любимый друг. Спасибо». Он имел в виду и мое поведение на сегодняшнем заседании.

*(«Письма к другу», стр. 120)*

**Максим:**

Шостакович написал не только музыку, но и либретто «Леди Макбет Мценского уезда», и потому эта опера была вдвойне любимым детищем. Он вообще ко всем своим произведениям относился, как к детям. И те из них, которые наиболее пострадали от запретов, от несправедливой критики, были для него дороже прочих. А у оперы «Леди Макбет» была не то чтобы драматическая, а воистину трагическая судьба. Шостакович-либреттист явственно представлял себе, как именно это должно не только звучать, но и выглядеть на сцене.

А театральные режиссеры зачастую позволяли, да и позволяют себе совершенно абсурдные вещи. Я сам, например, видел в одной из недавних постановок такую «режиссерскую находку». Персонаж, именуемый «Задрипанный мужичонка», как известно, поет: «У Измайловых труп в погреб!» Так вот в том спектакле, о котором я говорю, «труп» помещен не в погреб, а в багажник автомобиля «Лада», каковой для этой постановки специально выписали из Москвы. Вот такая бредовая идея. Я этому режиссеру выразил свое недоумение, дескать, следует придерживаться авторского замысла... А он мне: «Ну, Максим Дмитриевич, теперь уже так никто не работает». В этой же постановке и такая несообразность: Катерина поет: «Батраки крупчатку (муку) ссыпаят». А у него там персонажи в пластмассовых касках, и у них мешки с цементом... В другой постановке я видел: вместо старых российских полицейских на сцене появляются сотрудники советского КГБ.

Шостакович совершенно не терпел подобных вещей, а потому старался участвовать в подготовке всех постановок «Леди Макбет». Самым лучшим он считал спектакль в Киевском театре оперы и балета — дирижер К. А. Симеонов, режиссер И. А. Молостова, премьера состоялась в марте 1965 года.

**Шостакович — И. А. Молостовой:**

Я уже видел несколько постановок моей оперы. В лондонской постановке и особенно в загребской был очень сильный крен в сторону эротики, что совершенно недопустимо. Кое-что в Лондоне и в Загребе мне удалось исправить. В Лондоне больше, чем в Загребе...

Мне очень хочется, чтобы в 5-й картине Катерина Львовна ухаживала за избитым накануне Сергеем, как это может делать любящая женщина. Эротика тут недопустима. Главные эмоции Катерины Львовны — это любовь и жалость к Сергею, страх за себя и Сергея, угрызения совести после убийства Бориса Тимофеевича. Сергей должен быть подлецом. Но в то же время он должен быть таким, чтобы было понятно, почему Катерина его полюбила. Он должен быть внешне не ничтожным. В Театре имени Станиславского он уж очень ничтожен, и непонятно, как такое ничтожество смогла полюбить Катерина.

*(Хентова С. Шостакович. Жизнь и творчество. Том 2. Л., 1986, стр. 444)*

<...>

**Галина:**

<...> В отличие от обычных советских людей, Шостакович вообще не любил ездить за границу. Прежде всего потому, что не мог, не имел права обнаруживать свои истинные мысли и чувства. Кроме того, он знал, что настырные и бесцеремонные журналисты наверняка станут задавать провокационные вопросы. И наконец, ему всемирной знаменитости — было унижительно находиться за рубежом без достаточного количества денег, а ему их выдавали, как и всем соотечественникам, ничтожно мало.

Я вспоминаю еще одну характерную историю, она произошла в 1950 году. Шостакович был приглашен в Германию, где состоялось празднование по случаю двухсотлетия со дня смерти Баха. И вот там к нему явилась группа маститых музыкантов, которые предложили моему отцу купить огромный альбом, изданный с благотворительной целью. Цена была несообразно высокая, поскольку деньги от продажи парадного издания шли на помощь престарелым и больным оркестрантам. Отказаться от покупки Шостаковичу было неудобно, альбом он взял и объяснил, что деньги отдаст позднее. Затем отец отправился в советское посольство, занял у кого-то требуемую сумму и таким образом вышел из неловкого положения...

И как я помню, по возвращении в Москву он имел разговор с высоким начальством, чуть ли не с самим Молотовым. Отец заявил, что категорически отказывается от дальнейших поездок за границу, поскольку не может быть застрахован от повторения подобных позорящих его, да и саму нашу страну ситуаций.

<...>

**Галина:**

— Ты идешь гулять с собакой? Опустит, пожалуйста, письма, — говорит мне отец.

Он писал очень много писем. Всякий день на его столе накапливалась целая стопка заклеенных конвертов и открыток. Надписывал он их не по-советски небрежно — сначала фамилию, а потом инициалы адресата, а так, как это полагалось в старой России, уважительно — полностью имя, отчество, а уже затем фамилия.

Почти все письма Шостаковича — краткие, деловые. Но иногда самым близким своим друзьям он писал несколько подробнее и, я бы сказала, эмоциональнее. Но и в этих случаях больше иронии, нежели лирики, отец был невероятно сдержанным, наглухо закрытым для посторонних людей человеком.

Чтобы представить себе его эпистолярное наследие, надобно обратиться к книге «Письма к другу», в ней опубликовано то, что сохранил в своем архиве Исаак Давыдович Гликман, а он был близок с Шостаковичем более четырех десятилетий. Там наряду с множеством кратких записок есть письма существенные, которые отчасти приоткрывают чувства и мысли автора. Я не случайно употребила слово «приоткрывают», люди поколения нашего отца знали: их переписка проходит перлюстрацию.

Последнее обстоятельство заставляло Шостаковича прибегать к иносказаниям, намекам, и надо отдать ему должное, делал он это виртуозно. Стиль некоторых его писем сродни рассказам Михаила Зощенки, чьим поклонником был наш отец. И вот еще что: переписка с Гликманом дает исчерпывающий ответ на вопрос, каково было подлинное отношение Шостаковича к советской власти во всех ее чудовищных и крайне безвкусных проявлениях.

**Шостакович — Гликману:**

В Союзе советских композиторов должно было состояться ее (Восьмой симфонии. — М.А.) обсуждение, каковое было отложено из-за моей болезни. Теперь это обсуждение состоится, и я не сомневаюсь, что на нем будут произнесены ценные критические

замечания, которые вдохновят меня на дальнейшее творчество, в котором я пересмотрю свое предыдущее творчество и вместо шага назад сделаю шаг вперед.

*(«Письма к другу», стр. 61)*

Дело в том, что мой желудок перестал высоко держать свою обязанность хорошо переваривать пищу.

*(«Письма к другу», стр. 102)*

Целыми днями сижу на съезде композиторов. Вечерами бываю на праздничных премьерх новых выдающихся музыкальных произведений. Но не всегда эти праздники оборачиваются для меня праздниками.

*(«Письма к другу», стр. 247)*

Из эстетических впечатлений отмечу пластинку с цыганским пением. Это великолепно, хотя и очень грустно. <...> Поет певица Волшанинова и цыганский хор. Поет изумительно. Слушая ее, льются слезы и появляется желание выпить и закусить.

*(«Письма к другу», стр. 212)*

29. XII.1957. Одесса.

Дорогой Исаак Давыдович! Приехал я в Одессу в день всенародного праздника 40-летия Советской Украины. Сегодня утром я вышел на улицу. Ты, конечно, сам понимаешь, что усидеть дома в такой день нельзя. Несмотря на пасмурную туманную погоду, вся Одесса вышла на улицу. Всюду портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также т. т. А. И. Беляева, Л. И. Брежнева, Н. А. Булганина, К. Е. Ворошилова, Н. Г. Игнатова, А. П. Кириленко, Ф. Р. Козлова, О. В. Куусинена, А. И. Микояна, Н. А. Мухитдинова, М. А. Суслова, Е. А. Фурцевой, Н. С. Хрущева, Н. М. Шверника, А. А. Аристова, П. А. Поспелова, Я. Э. Калнберзина, А. И. Кириченко, А. Н. Косыгина, К. Т. Мазурова, В. П. Мжаванадзе, М. Г. Первухина, Н. Т. Кальченко.

Всюду флаги, призывы, транспаранты. Кругом радостные, сияющие русские, украинские, еврейские лица. То тут, то там слышатся приветственные возгласы в честь великого знамени Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также в честь т. т. А. И. Беляева, Л. И. Брежнева, Н. А. Булганина, К. Е. Ворошилова, Н. Г. Игнатова, А. И. Кириченко, Ф. Р. Козлова, О. В. Куусинена, А. И. Микояна, Н. А. Мухитдинова, М. А. Суслова, Е. А. Фурцевой, Н. С. Хрущева, Н. М. Шверника, А. А. Аристова, П. А. Поспелова, Я. Э. Калнберзина,

А. П. Кириленко, А. Н. Косыгина, К. Т. Мазурова, В. П. Мжаванадзе, М. Г. Первухина, Н. Т. Кальченко. Всюду слышна русская, украинская речь. Порой слышится зарубежная речь представителей прогрессивного человечества, приехавших в Одессу поздравить одесситов с великим праздником. Погуляя я и, не в силах сдержать свою радость, вернулся в гостиницу и решил описать, как мог, все-народный праздник в Одессе.

Не суди строго.  
Крепко целую.  
Д. Шостакович.

(«Письма к другу», стр. 135)

<...>

**Галина:**

Шостакович решительными шагами входит в дом и сразу же направляется в ванную комнату. Пробует кран — вода льется в раковину. Он заглядывает в уборную, дергает за цепочку — вода шумит в унитазе. После этого отец объявляет:

— Я эту дачу покупаю.

Он не стал подниматься на второй этаж, не посмотрел, какова крыша, что с подвалом... Его интересовало лишь одно — водоснабжение.

Так был приобретен дом в Жуковке, где отцу предстояло прожить многие годы.

Во времена более ранние существовала дача в Болшеве, ее Шостаковичу подарили по личному распоряжению Сталина. Это был неказистый деревянный дом, но отец это место полюбил — он там мог уединяться для работы. В Болшеве его угнетало лишь одно — вечные проблемы с водой. Питьевую вообще привозили откуда-то издалека, возле дома рыли колодцы, но все как-то неудачно. А отец был чистюлей, то и дело мыл руки, и вообще у него с водой были особенные отношения.

И вот в шестидесятом году ему предложили купить дачу в Жуковке, в поселке, где жили советские академики. Тут надобно отдать должное щепетильности моего отца. Вместо того, чтобы продать подаренную ему Сталиным дачу в Болшеве, он вернул ее государству. При том, что за новый дом надо было выложить — и немедленно — весьма значительную сумму.

В советские времена те из композиторов, чьи произведения исполнялись за рубежом, имели счета в иностранной валюте, туда переводились некоторые проценты из отбираемых у авторов заграничных гонораров. И если такой композитор выезжал из страны, ему

позволялось снять со своего счета немного валюты. Но это делалось неохотно и лишь с разрешения высокого начальства.

Разумеется, такой счет был и у Шостаковича. Так вот, чтобы вовремя заплатить за купленную дачу, отец был принужден перевести в рубли всю свою валюту. Государство притом наживалось, поскольку обмен осуществлялся по грабительскому официальному курсу. Эта финансовая операция имела неожиданное последствие. Отцу позвонил Арам Хачатурян и сказал:

— Что же ты делаешь? В какое положение ты нас всех поставил? Нам говорят: Шостакович — патриот, он свою валюту перевел в рубли. И вот теперь все композиторы должны последовать твоему примеру. Если тебе понадобились советские деньги, попросил бы у меня. Да тебе бы любой из нас одолжил...

Современный читатель может усомниться в реальности этой истории. Но наш отец всю сознательную жизнь прожил при советской власти и принужден был терпеть унижения едва ли не на каждом шагу. Уже незадолго до смерти, в семидесятых годах, перед очередной поездкой за границу он сделал попытку снять со своего валютного счета значительную сумму денег — ему захотелось купить иностранный автомобиль, кажется, «мерседес». Но начальство этого не позволило, Шостаковичу объяснили: «У нас, в Советском Союзе, изготавливают вполне качественные машины — “Волги”».

<...>

**Галина:**

Я вспоминаю сетования отца:

— Если бы у меня было право распорядиться хотя бы двумя квартирами в год... А так чем я могу помочь нуждающимся людям?

В течение многих лет Шостакович был депутатом Верховного Совета Российской Федерации и неукоснительно выполнял все связанные с этим обязанности: присутствовал на заседаниях, специально ездил в Ленинград, чтобы «вести прием избирателей»... Но никакой реальной власти у тогдашних депутатов не было и быть не могло. А посему отец, человек в высочайшей степени ответственный и страдающий чужому горю, тяготился своей депутатской должностью.

**Максим:**

Дела, по которым люди обращались к «депутату Шостаковичу», были двух родов: или жилищные, или связанные с репрессиями. В последних случаях отец в особенности стремился помочь. В конце 1963 года в Ленинграде началось преследование поэта Иосифа

Бродского. Анна Ахматова пригласила Шостаковича к себе, и 17 декабря он побывал в доме на Большой Ордынке, где поэтесса проводила свои московские месяцы. Существуют свидетельства о том, что он взялся помочь и говорил о «деле Бродского» с главным ленинградским начальником — В. С. Толстиковым. Но — увы! — пользы это не принесло — поэта арестовали и судили.

Я помню, собираясь на Ордынку, отец несколько раз произнес такую фразу:

— О чем же я буду говорить с Ахматовой?

А домочадцы поэтессы рассказывали мне, что перед его визитом она также выражала недоумение:

— Все это хорошо, но я не знаю, о чем надо говорить с Шостаковичем?

Впрочем, своей беседой они оба остались очень довольны.

Кстати сказать, Анна Ахматова была горячей поклонницей нашего отца, и тому есть письменное свидетельство. 22 декабря 1958 года она сделала такую надпись на книге своих стихов:

«Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, в чью эпоху я живу на земле».

**Анна Ахматова**

**МУЗЫКА**

*Д. Д. Шостаковичу*

В ней что-то чудотворное горит,  
И на глазах ее края гранятся.  
Она одна со мною говорит,  
Когда другие подойти боятся.  
Когда последний друг отвел глаза,  
Она была со мной в моей могиле  
И пела словно первая гроза  
Иль будто все цветы заговорили.

<...>

**Максим:**

— Дмитрий Дмитриевич, ведь вам достаточно только снять трубочку, — произносит гостя заискивающим голосом.

Шостакович смотрит на нее страдальчески.

Отец терпеть не мог этой фразы про «трубочку», а слышать это ему приходилось регулярно. Очень многие просители ошибочно полагали, что при своей популярности Шостакович — человек все-таки сильный. Дескать, достаточно ему попросить о чем-нибудь высокое начальство — и любое дело разрешится.

Дама, о которой я сейчас вспомнил, была вдовою композитора В. и была крайне озабочена «увековечением» памяти мужа. По ее мнению, одного телефонного звонка Шостаковича было достаточно, чтобы музыка В. стала исполняться в концертах и звучать по радио. Отец наш и «трубочку» много раз «снял», и письма подписывал, но вдове всего этого было мало.

В каком-то очередном разговоре мадам В. посетовала:

— Муж умер, и никого у меня не осталось...

Тут Шостакович возьми и скажи:

— Да, да... А вот у Иоганна Себастьяна Баха было два десятка детей. И все они продвигали его музыку.

— Вот-вот, — подхватила вдова. — Его до сих пор исполняют! А я-то одна, совсем одна!..

Я помню, как однажды после очередного разговора с этой дамой отец обратился к нам, домашним:

— Пожалуйста, когда я умру, не занимайтесь моим «бессмертием»... Не хлопчите, чтобы играли мою музыку...

**Галина:**

Но он всю свою жизнь пропагандировал музыку своих учеников и коллег, кого считал талантливыми. В журналах и в архивах можно прочесть десятки его писем с хвалебными отзывами о сочинениях С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Ю. Свиридова, К. Караева, М. Вайнберга, Г. Уствольской, Б. Тищенко, Э. Денисова и других композиторов. И все это писалось совершенно искренне — несмотря на свою деликатность и воспитанность, Шостакович в мнениях о музыке никогда не кривил душою.

<...>

**Шостакович — Эдисону Денисову:**

Я очень рад, что Вас волнуют всякого рода вопросы искусства, которое столь мне дорого и без которого я, вероятно, не смог бы прожить и дня... Настоящий художник любит свое творчество... Будет большой грех, если Вы зароете Ваш талант в землю. Конечно, для того, чтобы стать композитором, Вам надо много учиться. И не только ремеслу, но и многому другому. Композитор это не только тот, кто умеет недурно подбирать мелодию и аккомпанемент, кто может это недурно оркестровать и т. п. Это, пожалуй, может сделать каждый музыкально грамотный человек. Композитор — это нечто значительно большее. И, пожалуй, что такое композитор, Вы сможете узнать, очень хорошо изучив то богатейшее музыкальное

наследство, которое осталось нам от великих мастеров... Вы просите посоветовать насчет дальнейшего. Ваш несомненный талант заставляет меня настаивать на том, чтобы Вы стали композитором. Но если Вам остался лишь один год пребывания в университете, то кончайте университет. Путь композитора тернист (извините за несколько пошлую фразу). На своей шее испытал и испытываю... Если Вы на это решитесь, то в будущем не проклиняйте меня. Повторяю: тернист путь композитора. Испытал и испытываю на собственной шее. А университет обязательно кончайте.

*(Хентова, стр. 320)*

**Максим:**

Шостакович отнюдь не по собственной воле занял пост руководителя Союза композиторов России. Но в этой должности он работал не за страх, а за совесть, использовал открывшиеся ему возможности, дабы помогать талантливым людям.

**Софья Хентова:**

Поражала его объективность, беспристрастность. Будучи человеком обидчивым, как руководитель не позволял себе опускаться до личных обид. Е. Долматовскому довелось быть свидетелем того, как ученик Шостаковича, которого он «поднимал», неблагодарно, некрасиво поступил, с чужого голоса и в угоду очередному поветрию выступил против Учителя. Шостакович был оскорблен до глубины души... но, выступая на пленуме, Шостакович не оправдывался... Отмечая успехи композиторов, он назвал в числе лучших и своего обидчика. Тут уж я (Долматовский) обиделся... и при первой же встрече сказал ему, что напрасно он похвалил подлеца.

Дмитрий Дмитриевич остудил мое кипение:

— Он у меня ходил в лучших учениках, и я не имею права менять свое мнение о его таланте из-за его бестактности. Меня за то и выбрали руководителем композиторской организации РСФСР, что я не умею сводить счеты.

И тут же перевел разговор в шуточный план:

— Ну и, разумеется, за то, что и руководить я тоже не умею.

*(Хентова, стр. 396–397)*

**Композитор Борис Тищенко о Шостаковиче:**

Рассказывал, как один из его знакомых писал музыку за другого, который «умел продать», а потом «делился»: «В уборной, понимаете ли, передавал деньги из кармана в карман, а тот ему

ноты, чтобы никто не видел». Я говорю: «Кто этот негодяй? Я его исключу из Союза!» (в то время Дмитрий Дмитриевич был первым секретарем СК РСФСР), а он мне отказался назвать его имя: «Все-таки он дает мне заработать...».

*(Шостакович Д. Статьи и материалы, стр. 101)*

<...>

**Максим:**

Однажды отец зашел в парикмахерскую побриться, а я ждал его в соседнем помещении. Там было включено радио — какая-то исполнительница распевала романс Александра Алябьева «Соловей». Когда бритье окончилось и мы вышли на улицу, отец поморщился и произнес:

— До чего же это отвратительная, антимузыкальная вещь — колоратура...

Я запомнил эти его слова, но убежден, что подобному высказыванию нельзя придавать абсолютного значения. Вполне возможно, что при других обстоятельствах и при другом настроении Шостакович слушал бы это пение не без удовольствия.

О себе он говорил:

— Я люблю всю хорошую музыку — от Баха до Оффенбаха.

К некоторым знаменитым композиторам у него было сложное отношение. У Чайковского, например, что-то ему активно не нравилось, а какие-то произведения он очень любил. Стойкое неприятие Шостакович испытывал лишь к музыке Скрябина, я помню его беспощадный отзыв об этом композиторе:

— Смесь теософии с парфюмерией.

Из русских он в особенности ценил Мусоргского и потратил очень много сил, дабы его музыка дошла до слушателей в наиболее близком к авторскому замыслу виде. Шостакович заново оркестровал «Бориса Годунова», «Хованщину», «Песни и пляски смерти»... У него вообще была склонность доводить до совершенства чужие произведения, которые он считал талантливыми.

**Шостакович — своему ученику Борису Тищенко:**

С трепетом посылаю Вам партитуру. Поверьте, что я инструментал Ваш концерт с полным уважением и большим восхищением к клавиру. Более подробные объяснения я буду давать Вам при встрече. Я не злоупотреблял духовым звучанием и начисто изъясил из партитуры медь. Таким образом, я разрешил для себя две

задачи: 1) звучность не будет надоедать и 2) сольная виолончель везде будет слышна... Больше я не вносил своей капитальной отсебятины<sup>1</sup>.

*(Хентова, стр. 385)*

<...>

**Галина:**

Это было на даче в Жуковке летом 1960 года. Отец спустился со второго этажа, присел на стул и объявил:

— Я только что закончил произведение, которое посвятил своей памяти.

Он посидел, покурил и опять ушел наверх, в свой кабинет.

В тот день был завершен знаменитый Восьмой квартет<sup>2</sup>. В свое время он был сыгран, имел огромный успех, и тут же начался очередной нажим на автора с тем, чтобы он изменил посвящение. Отец принужден был уступить, иopus получил новое надписание — «Памяти жертв фашизма». С таким фальшивым посвящением квартет исполняется и до сего дня, и это лишнее свидетельство того, насколько коллеги-музыканты равнодушны к трагической судьбе Шостаковича.

**Максим:**

Разумеется, в 1960 году посвящение «Памяти жертв фашизма» воспринималось как сомнительное. Но если понимать слово «фашизм» как синоним «тоталитаризма», двусмысленность исчезает: Шостакович был одной из бесчисленных жертв чудовищного тоталитарного режима.

**Галина:**

Нет, с этим я не согласна. У меня до сих пор в ушах звучит: «Посвятил своей памяти». Такое нечасто услышишь, а уж тем паче от столь сдержанного человека, каким был наш отец. Я убеждена: необходимо восстановить подлинное посвящение.

**Максим:**

Человек, в те времена не живший, может подумать: какая же Шостакович жертва? Депутат Верховного Совета, народный артист Советского Союза, Герой Социалистического Труда, лауреат всех возможных премий и проч., и проч... Если смотреть с такой точки зрения, то и Александр Пушкин никак не может считаться при-  
тесняемым: он был обласкан царем, да и сочинял верноподданны-

ческие стихи. Однако же все считают, что великий поэт пострадал от монархии. Увы! Шостаковичу довелось жить не в России времен Николая I, а в сталинском Советском Союзе. Бывали такие периоды, когда наш отец чувствовал себя на волосок от гибели. И до самой смерти своей он был напрямую зависим от безграмотных, наглых и жестоких чиновников, которые то и дело подвергали его прямому шантажу.

Я никогда не забуду, как летом 1960 года отец позвал нас с Галей в свой кабинет, сказал:

— Меня загнали в партию.

И тут он заплакал.

Я два раза в жизни видел его плачущим — когда умерла наша мама и в тот злополучный день.

**Дмитрий Шостакович — Исааку Гликману:**

Я вернулся из поездки в Дрезден. Смотрел материалы кинофильма «5 дней, 5 ночей», создаваемого Л. Арнштамом. <...>

Меня там очень хорошо устроили для создания творческой обстановки. Жил я в городе Горлице, также на курорте Горлиц<sup>3</sup>, что под городом Кенингштейном<sup>4</sup>, в 40 километрах от Дрездена. Место неслыханной красоты. Впрочем, ему и полагается быть таковым: это место называется Саксонская Швейцария. Творческие условия оправдали себя: я сочинил там 8-й квартет. Как я ни пытался выполнить вчерне задания по кинофильму, пока не смог. А вместо этого написал никому не нужный и идейно порочный квартет. Я размышлял о том, что если я когда-нибудь помру, то вряд ли кто напишет произведение, посвященное моей памяти. Поэтому я сам решил написать таковое. Можно было бы на обложке так и написать: «Посвящается памяти автора этого квартета». Основная тема квартета ноты D. Es. C. H., т. е. мои инициалы (Д. Ш.). В квартете использованы темы моих сочинений и революционная песня «Замучен тяжелой неволей». Мои темы следующие: из 1-й симфонии, из 8-й симфонии, из Трио, из виолончельного концерта, из «Леди Макбет». Намеками использованы Вагнер (траурный марш из «Гибели богов») и Чайковский (2-я тема 1-й части 6-й симфонии). Да: забыл еще мою 10-ю симфонию. Ничего себе окрошка. Псевдотрагедийность этого квартета такова, что я, сочиняя его, вылил столько слез, сколько выливается мочи после полдюжины пива. Приехавши домой, раза два попытался его сыграть и опять лил слезы. Но тут уже не только по поводу его псевдотрагедийности, но и по поводу удивления прекрасной цельностью формы. Но, впрочем, тут, возможно, играет

роль некоторое самовосхищение, которое, возможно, скоро пройдет и наступит похмелье критического отношения к самому себе.

Сейчас я отдал квартет переписать и надеюсь начать его разучивать с теми же бетховенцами.

Вот и все, что произошло со мной в Саксонской Швейцарии.

*(«Письма к другу», стр. 159)*

**Исаак Гликман:**

Вот что предшествовало сочинению Восьмого квартета.

В 20-х числах июня 1960 года Дмитрий Дмитриевич приехал в Ленинград и поселился не в Европейской гостинице, как он обычно делал, а в квартире сестры Марии Дмитриевны. Как выяснилось позже, этот поступок был совершен неспроста.

28 июня я нанес Дмитрию Дмитриевичу короткий визит. Он сообщил мне, что им недавно написаны «Пять сатир на стихи Саши Черного» и он надеется познакомить меня с этим опусом. Но завтра — 29 июня рано утром — Дмитрий Дмитриевич позвонил мне и попросил немедленно прийти к нему. Когда я мельком взглянул на него, меня поразило страдальческое выражение его лица, растерянность и смятение. Дмитрий Дмитриевич поспешно повел меня в маленькую комнату, где он ночевал, бессильно опустился на кровать и принялся плакать, плакать громко, в голос. Я со страхом подумал, что с ним или с его близкими произошло большое несчастье. На мои вопросы он сквозь слезы невнятно произносил: «Они давно преследуют меня, гоняются за мной...» В таком состоянии я никогда не видел Дмитрия Дмитриевича. Он был в тяжелой истерике. Я подал ему стакан холодной воды, он пил ее, стуча зубами, и постепенно успокаивался. Примерно час спустя Дмитрий Дмитриевич, взяв себя в руки, начал мне рассказывать о том, что с ним случилось некоторое время тому назад в Москве. Там было решено по инициативе Хрущева сделать его председателем Союза композиторов РСФСР, а для того, чтобы занять этот пост, ему необходимо вступить в партию. Такую миссию взялся осуществить член бюро ЦК П. Н. Поспелов<sup>5</sup>.

Вот что говорил мне (текстуально) Дмитрий Дмитриевич в июньское утро 1960 года, в разгар «оттепели»: «Поспелов всячески уговаривал меня вступить в партию, в которой при Никите Сергеевиче дышится легко и свободно. Поспелов восхищался Хрущевым, его молодостью, он так и сказал — “молодостью”, его грандиозными планами, и мне необходимо быть в партийных рядах, возглавляемых не Сталиным, а Никитой Сергеевичем. Совершенно оторопев, я, как мог, отказывался от такой чести. Я цеплялся за соломинку,

говорил, что мне не удалось овладеть марксизмом, что надо подождать, пока я им овладею. Затем я сослался на свою религиозность. Затем я говорил, что можно быть беспартийным председателем Союза композиторов по примеру Константина Федина и Леонида Соболева, которые, будучи беспартийными, занимают руководящие посты в Союзе писателей. Пospelов отвергал все мои доводы и несколько раз называл имя Хрущева, который озабочен судьбой музыки, и я обязан на это откликнуться. Я был совершенно измотан этим разговором. При второй встрече с Пospelовым он снова прижимал меня к стенке. Нервы мои не выдержали, и я сдался».

Рассказ Дмитрия Дмитриевича несколько раз прерывался моими взволнованными вопросами. Я напомнил ему, как он часто говорил мне, что никогда не вступит в партию, которая творит насилие. После больших пауз он продолжал: «В Союзе композиторов сразу узнали о результате переговоров с Пospelовым, и кто-то успел состряпать заявление, которое я должен как попугай произнести на собрании. Так знай: я твердо решил на собрание не являться. Я тайком приехал в Ленинград, поселился у сестры, чтобы скрыться от своих мучителей. Мне все кажется, что они одумаются, пожалеют меня и оставят в покое. А если это не произойдет, то я буду сидеть здесь взаперти. Но вот вчера вечером прибыли телеграммы с требованием моего приезда. Так знай, что я не поеду. Меня могут привезти в Москву только силком, понимаешь, только силком».

Сказав эти слова, звучавшие как клятва, Дмитрий Дмитриевич вдруг совершенно успокоился. Своим, как ему казалось, окончательным решением он как бы развязал тугий узел, стянувший его горло. Первый шаг был уже сделан: своей неявкой он сорвал готовившееся с большой помпой собрание. Обрадованный этим, я попрощался с Дмитрием Дмитриевичем и отправился в Зеленогорск, где снимала дачу моя матушка, и обещал на днях навестить отшельника. Однако он, не дождавись меня, сам без предупреждения приехал 1 июля поздно вечером ко мне в Зеленогорск с бутылкой водки. Шел дождь. Дмитрий Дмитриевич выглядел измученным, вероятно, после бессонной ночи с ее душевными переживаниями.

Дмитрий Дмитриевич, едва переступив порог нашей хижины, сказал: «Извини, что так поздно. Но мне захотелось поскорее увидеть тебя и разделить с тобой мою тощицу». Я тогда не знал, что эту грызущую его «тощицу» он через несколько недель изольет в музыку Восьмого квартета и таким образом сумеет отвести душу.

Захмелев от выпитой водки, Дмитрий Дмитриевич заговорил не о фатальном собрании, а о могуществе судьбы и процитировал

строку из пушкинских «Цыган»: «И от судеб защиты нет». Слушая его, я вдруг с грустью подумал, не склонен ли он покориться судьбе, сознавая невозможность сразиться с ней и победить ее. К сожалению, так и случилось. Собрание, походившее на трагифарс, было организовано вторично, и Дмитрий Дмитриевич, сгорая от стыда, зачитал сочиненное для него заявление о приеме в партию. <...>

Творческое, художественное бесстрашие Шостаковича сочеталось в нем со страхом, возвращенным сталинским террором. Многолетняя духовная неволя опутала его своими сетями, и не случайно в автобиографическом Восьмом квартете так надрывно, драматично звучит мелодия песни «Замучен тяжелой неволей».

(«Письма к другу», стр. 160–161)

<...>

**Максим:**

Первые симптомы болезни появились у отца в 1958 году. Он был во Франции и выступал в концертах. И вот тогда почувствовал недомогание правой руки. Сначала он решил, что «переиграл руку». Есть у пианистов такой термин, когда от репетиций и выступлений рука переутомляется и начинает побаливать... Но болезнь развивалась, и в конце концов поставили диагноз. Это называется «боковой амеотрофический склероз», в Америке сокращенно — SLA. Болезнь очень противная, у отца была поражена вся правая сторона тела... И была опасность, что когда-нибудь откажет дыхательный аппарат. Но папа до этого не дожил, у него развился рак легкого... Своих недомоганий он стеснялся, я бы сказал, что он относился к болезням целомудренно.

**Исаак Гликман:**

5 мая [1972] состоялась премьера Пятнадцатой [симфонии]. Зал филармонии был набит до отказа. Публика во все глаза смотрела на ложу, в которой сидел Шостакович. Мне показалось, что многие пришли на концерт не только для того, чтобы послушать симфонию, но для того, чтобы непременно посмотреть на любимого автора.

Он был в черном костюме, белоснежной сорочке и на расстоянии выглядел прежним, молодым, красивым.

По окончании симфонии началась овация. Появление на эстраде Шостаковича вызвало громадный энтузиазм публики. За кулисами он мне сказал: «Если бы ты знал, как устали мои ноги выходить на вызовы». И лицо его сделалось страдальческим».

(«Письма к другу», стр. 287)

**Дирижер Кирилл Кондрашин:**

К 1970 году в моем репертуаре были уже многие произведения Шостаковича, и возникла мысль исполнения цикла всех его симфоний в честь шестидесятилетия со дня рождения композитора. Замысел был реализован в течение двух лет. Дмитрий Дмитриевич присутствовал на многих концертах, часто несмотря на болезненное состояние. Каждый раз перед началом концерта он говорил примерно следующее:

— Кирилл Петрович, если симфония будет иметь успех и вы захотите вызвать меня на поклон, пожалуйста, не обижайтесь, если я не поднимусь на сцену, а только подойду к эстраде. Мне трудно быстро подниматься по ступенькам, все будут за мною наблюдать, а я этого терпеть не могу.

*(Шостакович Д. Статьи и материалы, стр. 94)*

**Софья Хентова:**

С радостью и благодарностью Шостакович откликнулся на предложение участвовать в подготовке оперы «Нос» на сцене Камерного музыкального театра под руководством режиссера В. А. Покровского и дирижера Г. Н. Рождественского. В театре, расположенном в подвальном помещении, как вспоминал Покровский, «ему было мучительно трудно опускаться по лестницам, а еще того пуще подниматься после репетиции вверх». Естественно, что восторженные артисты предложили нести Дмитрия Дмитриевича по лестнице на руках (это так просто!). Но столь же естественно и просто от этого отказался Дмитрий Дмитриевич. Его вполне устроила запасная лестница во двор, и никто не видел, как двигался по ней наш дорогой гость. Никто не видел, не помогал, не соболезновал, не фиксировал внимания на проклятой болезни. Пустяк? Нет, он оградил себя от оскорбительной жалости. И мы помним, как он вдруг появлялся среди нас, чтобы разделить с нами наш труд.

*(Хентова, стр. 562)*

**Галина:**

Я вспоминаю, как отец извинялся перед каким-нибудь своим знакомым:

— Простите, я вынужден здороваться с вами левой рукой...

В конце 1973 года у него обнаружили опухоль в левом легком. Я помню, он вернулся из поликлиники, прилег... Я подошла к нему, он говорит:

— В рентгеновском кабинете смотрели меня два часа... То один врач придет, то другой...

Конечно, он догадался, что дело плохо... Но он ни с кем из близких эту тему не поднимал. Это был его жизненный принцип — никогда и никого не нагружать своими собственными проблемами...

**Исаак Гликман, дневниковая запись:**

9 июня 1974 года.

Сегодня я был у Дмитрия Дмитриевича в Репине. Мы довольно долго беседовали о разных разностях... <...> Когда мы остались вдвоем (Ирина Антоновна вышла из комнаты), Дмитрий Дмитриевич заговорил о страданиях, которые он испытывает из-за ног и рук. Когда он по этому поводу произносил отрывистые фразы, слезы блеснули у него на глазах. Затем, сдержав себя, Шостакович сказал: «Впрочем, я не люблю жалобщиков и сам не люблю жаловаться».

Слушая его, я сам чуть не расплакался.

*(«Письма к другу», стр. 301)*

**Максим:**

Невозможно не сказать о той роли, которую сыграла в жизни нашего отца его жена Ирина Антоновна. Она вышла замуж за Шостаковича в 1962 году, когда его болезнь была в начальной стадии и даже диагноз еще не был поставлен. И во все последующие годы именно Ирина Антоновна была его главной опорой и поддержкой. Они были вместе во всех поездках, в больницах и санаториях, она была и секретарем, и шофером, и сиделкой...

**Галина:**

Помимо всего прочего Ирина Антоновна умела организовать то, что называется распорядком и бытом. Вот Дмитрий Дмитриевич работает, вот он отдыхает... И она строжайше следила за тем, чтобы его лишней раз не отвлекли, чтобы его не потревожили...

А уже в самые последние годы она стала его поводырем, если это слово можно применить по отношению к тому, кто печется о зрячем человеке. Я так и вижу, она идет с ним под руку и произносит: «Осторожно, Митя, здесь ступенька вниз... А здесь ступенька вверх...»

В конце концов на даче в Жуковке был устроен лифт, чтобы отец мог прямо из прихожей подниматься к себе в комнату. Но ведь мы жили в Советском Союзе, и при этом лифте должен был быть человек, который официально имел бы право за ним следить. И Ирина Антоновна, ничтоже сумняшеся, пошла на специальные курсы лифтеров и получила диплом об их окончании. И вот однажды полученные навыки пригодились. Лифт, в котором находился Шостакович,

застрял между этажами... Тогда Ирина Антоновна по приставной лестнице залезла на чердак, и там они с домработницей руками поворачивали огромное металлическое колесо... Лифт двинулся, дошел до второго этажа, и отец был освобожден из своего плена.

**Максим:**

Я убежден, что именно благодаря заботе, которой его окружила Ирина Антоновна, наш отец, несмотря на свои тяжелые недуги, дожил почти до семидесяти лет. И при этом не должно забывать, что Шостакович оставался творцом до последних дней своей жизни. Он всегда вникал своим ученикам:

— Не следует писать музыку, если ты можешь ее не писать.

Сам он не мог не сочинять, он был одержим творчеством всю свою жизнь. Я уверен, что самое существенное и верное суждение о Шостаковиче было произнесено 14 августа 1975 года над его гробом. Юрий Свиридов — один из лучших и любимейших его учеников — говорил: «...мягкий, уступчивый, подчас нерешительный в бытовых делах, этот человек в главном своем — сокровенной сущности своей — был тверд как камень. Его целеустремленность была ни с чем не сравнима».

В 1936 году, в страшное для себя (да и для всей страны) время, ошельмованный и униженный, Шостакович произнес такую фразу:

— Если мне отрубят обе руки, я возьму перо в зубы и все равно буду писать музыку.

Это были не пустые слова.

